



**Владимир Дмитриевич Михайлов**  
**Хождение сквозь эры**

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=165357](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165357)  
Решение номер три: Эксмо; Москва; 2005  
ISBN 5-699-12392-X*

# Содержание

1. Архей	4
2. Протерозой	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Владимир Михайлов

## Хождение сквозь эры

### 1. Архей

Я родился весной 1929 года. В советской истории этот год получил название «года великого перелома». Для меня он действительно стал таким: всё время меня не было, а тут вдруг оказался.

Шёл двенадцатый год революции. В то время, говоря «Революция», подразумевали Октябрьскую. В отличие от всяких там буржуазных она была социалистической и потому – единственно правильной. Шёл её двенадцатый год, и жизнь казалась людям более фантастической, чем любая литература. Мы жили в ощущении непрерывного развития. И были уверены в великолепии будущего.

Таков был воздух моего детства. Потому что я родился в очень партийной семье. Мои родители воевали на фронтах Гражданской. Интересы страны тесно сплетались с нашими семейными. Все мы верили, что это – наша страна, а не царство Политбюро.

Ко времени моего рождения отец работал председателем Сокольнического райисполкома Москвы, но вскоре был переброшен, как тогда говорилось, на производство (до исполкома он работал директором завода «Красный Богатырь», где начинал рабочим у каландра); вернув на производство, его послали на стажировку в США. Затем в Германию. Через два года, вернувшись, он возглавил строительство Ярославского резино-асбестового комбината (так это предприятие тогда называлось), одной из крупнейших строек того времени. Вскоре публично поспорил со Сталиным, и это сильно повлияло на его дальнейшую карьеру. Правда, строить он продолжал – до поры до времени. Преданный партии, Сталина он очень не любил, прежде всего за то, что тот, по сути, отстранил партию от какого-либо реального участия в жизни страны. Отец помнил времена, когда вопросы решались в партийных низах, и Политбюро считалось с ними.

Мать же работала именно в партийном аппарате – была завсектором в отделе пропаганды и агитации МК партии – Московского обкома, которому тогда подчинялась и Московская городская партийная организация. Последовательно выполняя линию партии, оба они оказались арестованными в 1938 году. Мать всё подписала, уже на первом допросе лишившись зубов, получила пятнадцать лет с последующим вечным поселением, срок отбыла и два года ссылки в Красноярском крае, а уже перед «поздним реабилитансом» вернулась в Москву и в своё время была по всем статьям реабилитирована. Отец же, человек железной воли и мужества, не признал и не подписал ничего и по известному приказу Берии был отпущен, просидев под следствием год. Больной и изуродованный, он смог прожить ещё пять с лишним лет, прошедших в работе, как говорится, на расплав подшипников, размещал эвакуированные авиазаводы в Новосибирске и Бердске, а затем – восстанавливал два завода, самолётный и моторный, в Воронеже, и в 1944-м умер от туберкулёза.

Я пишу тут об этом потому, что не исключаю: именно осознанное со временем расхождение между обещанным, верившимся – и тем, что получилось на самом деле, подтолкнуло меня к фантастике. Дух надежд и мечтаний, возможно, подсознательно заставлял думать о том, чего не было на самом деле. Думать, а затем и писать.

Я решил стать писателем, когда мне было семь лет.

До сих пор чётко помню, как это случилось. Я куда-то шёл – просто гулял, наверное – по родному Большому Балканскому переулку (он есть и сейчас; вот Малый Балканский

исчез), и вдруг эта простая мысль пришла мне в голову. Она показалась такой естественной, что я сразу в неё поверил. До того я считал, что должен стать моряком, хотя море впервые увидел только через два года после этого события. Это первое желание пришло из книг, которых я к тому времени уже прочитал довольно много: читать начал, когда мне было три с небольшим. У читателя с писателем – прямая связь, а с морем очень извилистая. Наверное, поэтому моряком я так и не стал – и до сих пор жалею. Что же касается писательства, то я настолько в такую судьбу уверовал, что к осуществлению её шёл долго, неторопливо и вовсе не по прямой.

Правда, первый свой роман – фантастический – я начал писать лет, наверное, в девять, сразу же после того, как прочел книгу Григория Адамова «Победители недр». Написал, помнится, странички четыре в обычной школьной тетрадке. В один присест. На этом начался и почти закончился первый этап моей литературной карьеры.

«Почти» – потому, что один законченный короткий рассказ я вскоре всё-таки написал, на сей раз подражая уже не Гр. Адамову, но Александру Грину. Написал, как сейчас помню, в блокноте. Мои приятели-сверстники серьёзно обсудили рассказ и сделали замечания. То была первая встреча с критикой. На замечания я не обиделся, как не обижаюсь на них и сейчас. Правда, тогда мне ещё не было известно изречение великого остроумца: «Критик – это человек, который объясняет мне, как бы он написал мой роман, если бы умел писать романы».

Романы у критиков – и не только у Белинского – получаются, как правило, скверными...

После этого я по-прежнему охотно читал всё подряд, что было в нашей семейной библиотеке (вовсе не плохой: возможность приобретения книг у родителей, как и доступ ко многому другому, определялся их служебным положением), в том числе фантастику (то небольшое, что тогда у нас издавалось): Жюль Верна, Беляевых – Александра и Владимира, уже названного выше Адамова; но о том, чтобы постараться сотворить что-то в том жанре, больше не думал.

Дальше всё шло по шаблону. Я, как и полагается, начал писать стихи. Хотя можно сказать, что продолжил. Первые свои две строки, которые можно условно считать стихотворными, были написаны первого (хотя, наверное, всё-таки второго) декабря 1934 года и звучали так: «Жил в ленинградской земле вождь Ленинграда Киров...». Замах был явно на поэму, однако пятилетний автор с задачей не справился, и никакого продолжения не последовало.

Услышав об убийстве Кирова, мать сказала отцу: «Митя, какая голова упала...» Отец ответил невесело: «Аринушка, а сколько голов теперь полетит!» Зная Сталина, он уже тогда не сомневался в дальнейшем развитии событий.

После ареста родителей дети – мы с братом – продолжали жить в той же самой квартире; мать, вероятно, считалась врагом народа не столь крупным, чтобы и детей упрятать в специальный детдом, отец же был арестован несколько позже, не в Москве, а в Краснодаре, где тогда руководил стройкой завода ЗИП. Так что он лишился только краснодарского жилья: чёткости в работе ежовской гвардии и тогда не хватало. А возможно, сыграло роль и то, что мне тогда было девять лет, брату – шесть, и с нами вместе жили дед и бабушка, ни к какой политике никогда не имевшие отношения. У нас только отобрали одну комнату (из трёх), куда поселили какую-то машинистку из НКВД с сестрой. В Краснодаре же сыновья арестованного начальника строительства никого не интересовали, поскольку нас там и не было. И в школе мы продолжали учиться нормально – в 283-й, в Безбожном (тогда) переулке. И доучились до самой войны.

Военные годы почти все прошли в эвакуации. Сначала школа вывезла нас, в числе прочих, в Тумский район Рязанской области: оказались мы в селе Константинове, на родине

Есенина, которого там хорошо помнили – после его смерти прошло всего одиннадцать лет. Отец, уже выпущенный, строил в то время завод в Муроме и к концу лета перевёз нас к себе. Вскоре его послали в Новосибирск, о чём уже говорилось. И вот там произошла новая моя встреча с фантастикой; при этом не только с литературной.

Мы оказались в Новосибирске в самом начале 1942 года. Я сразу побежал устраивать в школу – в 50-ю – нас обоих. Устроил: себя – в пятый класс, брата – во второй.

Город был переполнен эвакуированными. В нашем классе было больше пятидесяти учеников – это при том, что школа работала в три смены, и наша – третья – кончала уроки где-то за полночь. В классе, вместе с сибиряками, были москвичи, ленинградцы, одесситы, киевляне... Вот там-то и произошла эта встреча.

Напомню: шло начало 1942 года. Немцы, отброшенные только что от Москвы, продолжали оставаться страшной опасностью. До будущих военных успехов надо было ещё жить и жить. А жилось достаточно голодно. Одним словом, должно было бы быть не до фантастических замыслов. Не до жиру, быть бы живу.

Но двенадцатилетние мальчишки редко подчиняются житейской логике. И вот четверо из пятидесяти вдруг заболели тем, что тогда называлось «межпланетными путешествиями», а теперь носит название «космонавтика».

Надо учесть, что в те годы возможность выхода в космос казалась людям почти невероятной. Сомневались не только люди несведущие; в реальность осуществления этой идеи не верили и многие учёные. Хотя работы Циолковского были написаны уже достаточно давно. О ракетах знали мало. Писали, что некогда китайцы использовали их как оружие, но невозможность точного прицела делала их бесперспективными в военном отношении. В то время уже существовали «катюши», но я не помню, успели ли мы услышать о них.

Так или иначе, космосом мы заболели. Читали всё, что только можно было найти по этому поводу: и фантастику (её было по-прежнему мало), и всё, что отыскивалось нами в подшивках журналов и в библиотеке. Циолковского, например. Кроме него – «патриарха звездоплавания», мы знали и о «корифеях» (к таким причислялись Годдард в Америке и Оберт в Германии), слышали о Цандере, Рынине, о ГИРДе... Имени Королёва мы тогда не знали. Как и Вернера фон Брауна.

Мы спорили – сможет ли ракета развить первую космическую скорость, чтобы выйти на орбиту вокруг Земли. Какой такая ракета должна быть. Чертили проекты. Гадали – какое топливо будет использоваться: водород, или что-то другое. Считали, что перед выходом в космос будут построены ракетопланы – ракетные стратопланы.

Нас было, как я сказал, четверо. Марк Альтшулер из Ленинграда, Лурье (в имени его боюсь ошибиться), Коля Ченцов и я. Лурье хорошо рисовал, у Коли Ченцова были прекрасные математические способности – помнится, уже тогда, в пятом классе, он разделался со школьным курсом математических дисциплин и внедрил в вузовскую программу. Через двадцать лет, давая имена героям своей первой повести, одному из них я присвоил слегка изменённую фамилию Николая.

Кружок наш просуществовал до лета. В шестом классе я учился уже в другой школе; в те времена родители часто переезжали туда, куда их посылали, дети, естественно, следовали за ними. Мой отец в конце 1943 года был направлен в Воронеж, я поехал с ним. Жить ему оставалось несколько месяцев.

О дальнейшей судьбе ребят почти ничего не знаю; голос Марика Альтшулера, повзрослевший, но очень узнаваемый, я однажды услышал по «Голосу Америки» – он оказался уже в Штатах, преподавал русскую литературу то ли в Колумбийском университете, то ли в каком-то другом – память не сохранила. До отъезда он, как оказалось, работал в Пушкинском доме АН, в Питере. О других мне ничего не известно.

Но космическая тема застряла во мне ещё с того времени. Правда, тогда я не думал, что она найдёт окольный выход – что я снова приобщусь к ней через литературную работу. Тогда вообще не время было задумываться ни над чем другим, кроме войны с её успехами и провалами. Остальное отходило на второй план; и стихи в том числе.

Однако вот же сохранился этот эпизод в памяти; значит, он на самом деле был для меня важнее, чем я думал: неважное для судьбы, пусть и яркое, забывается скорее.

Стихи же снова начали писаться лишь после того, как мне стукнуло шестнадцать. С тех пор писались они долго, но очень небольшими дозами. Смешно, но именно от стихов идёт исчисление моего литературного стажа: от первой публикации, а первой моей литературной публикацией были именно стихи – в мае 1948 года. Я тогда бредил Маяковским, и это стихотворение было посвящено его памяти. Прошли стихи в рижской газете «Советская молодёжь». Помню, что мне было очень стыдно идти за гонораром, хотя величина его превышала мою стипендию и деньги были более чем кстати. Стыдно потому, что поэзию я считал делом высоким, чуждым всего мирского.

Где мои тогдашние девятнадцать лет?..

Как писал Вийон: «Но где же прошлогодний снег?»

В 1945-м я переехал в Латвию и жил, по большей части в Риге. После смерти отца я ещё год прожил в Москве у родственников. Но пришёлся им совершенно не ко двору. А уехал именно в Латвию потому, что там жило множество моих родичей по отцу. Были ещё живы его родители, у меня оказалось с полдюжины дядей и тёток, были и двоюродные братья и сёстры, со временем их ещё прибавилось. Русские старообрядцы – а именно к ним моя родня принадлежит – ушли из России в Латгалию (тогда это была Польша, потом она стала частью России, а после революции вошла в состав Латвии) ещё во времена Алексея Михайловича – от никонианской реформы, и жили там поколение за поколением, храня чистоту веры и многие архаичные черты языка. На некоторое время они меня приютили, но сами жили достаточно бедно, так что выкручиваться дальше пришлось самому. Этим я и занялся.

Что же до литературы, то первой публикации оказалось достаточно, чтобы я вообразил себя поэтом, – к счастью, очень ненадолго. Где-то через год с небольшим я пришёл к выводу, что и Пушкин (которого я тогда не любил, потому что все настойчиво уверяли, что я просто обязан любить его), и Багрицкий, которого я любил по собственной инициативе, могли спать, а здравствовавшие тогда великие Пастернак и Твардовский – жить спокойно: конкуренция с моей стороны им никак не угрожала. Не скажу, что я бросил стихи, – но во всяком случае никаких литературных надежд на них более не возлагал. И правильно делал.

Несостоявшиеся поэты (а порой и очень состоявшиеся), потерпев поражение, обращаются к прозе. Естественно, эта мысль не обошла и меня: я ведь помнил, что должен стать писателем. Уверенность моя в этом оказалась настолько незыблемой, что я вовсе не спешил броситься к письменному столу (которого, кстати, у меня и тогда, и ещё много лет потом не было). Писать было некогда, надо было выживать, потому что вследствие и уже упомянутых, и других, здесь не затронутых обстоятельств, я с шестнадцати лет оказался на собственном иждивении. Писать можно было и завтра, а вот есть что-нибудь хотелось каждый день. Да и потом, в мире было великое множество интересных дел, и мне хотелось испробовать себя и тут, и там. Почувствовать вкус жизни.

И следующие годы – около десятка – я не занимался ничем, что имело бы хоть какое-то отношение к литературе – если не считать, конечно, чтения. Читал я и тогда с великой жадностью всё, что попадало под руку. Думаю, что впоследствии это мне во многом помогло. А в Латвии было что читать: там нам, приехавшим, стали доступны многие книги, издававшиеся одним из рижских издательств на протяжении двадцати лет, и переводы, и русские оригиналы, о которых мы раньше ничего не слышали. Что же касается остального, то сейчас

мне кажется, что в немногие годы с середины сороковых до конца пятидесятых, я прожил не одну, а несколько коротких, но интересных жизней.

Окончив школу, я работал, правда, недолго, помощником мастера по вязальным машинам на Рижской чулочной фабрике. Потом поступил в университет, на юридический факультет. Почему я пошел туда, а не подал заявление на отделение журналистики – до сих пор не совсем понимаю. Наверное, всё-таки потому, что мне всегда хотелось романтики, и я считал, что найду её в профессии сыщика.

Зато помню совершенно точно, почему не попытался поступить в Литературный институт: тогда я полагал, что туда попадают только совершенные и несомненные гении. А на гениальность я не претендовал даже в том возрасте, для которого это является естественным.

Кстати, у людей, более или менее представляющих себе тогдашнюю обстановку, может возникнуть законный вопрос: юридический факультет университета, как и любого другого юридического учебного заведения, готовил специалистов для судов, прокуратуры, милиции и так далее. Для работников этих органов всегда считалась необходимой чистая – без сучка, без задоринки – биография. Я же был тогда, как-никак, сыном врага народа. Каким же образом?..

Очень простым. И в анкете, и в автобиографии я в те годы «забывал» упомянуть это обстоятельство.

Самое, пожалуй, интересное в том, что, поступая так, я не считал, что кого-то обманываю. Вероятно, в подсознании у меня крепко сидело ощущение того, что я просто исправляю допущенную кем-то ошибку.

Ведь таких, как мои родители, были, самое малое, сотни тысяч. Я имею в виду не репрессированных вообще, но людей, которые до того входили в правившую систему. Я знал некоторых из них – товарищей моих родителей по работе, по Красной Армии, был знаком, естественно, и с их детьми. Никто из них – из нас – насколько помню, не перестал тогда верить советской власти. Никто не сомневался в правильности происходившего – до тех пор, пока дело не каснулось наших родителей. Но каждый был свято уверен, что его (её) отец (мать) посажены в результате ошибки. Мы твёрдо знали, что наши-то родители врагами народа не были. Хотя тогдашняя пропаганда, кроме всего прочего, старалась нас в этом убедить. Вот почему, ведя себя так, словно у меня с родителями было всё в порядке, я не сомневался, что всего лишь возвращаю себе права, ошибочно у меня отнятые.

Так или иначе, я был принят. И зачислен, как ни странно, не на русский поток первого курса, а на латышский.

Причиной послужил интерес к языкам, который был у меня тогда и остался по сей день. Оказавшись в Латвии, я с первого дня старался понять и запомнить хоть какие-то слова. Мне казалось противоестественным – жить среди людей и не понимать их языка.

Большинство из нас, мигрировавших в Латвию из, как тогда говорили, старых республик, так не считало и позволяло себе, живя там годы и десятки лет, не усвоить ни словечка из коренного языка этой страны. Сейчас они – те, кто там остался, – пожинаяют плоды своего тогдашнего высокомерия. Я не пытаюсь как-то оправдать политику нынешних латвийских властей по отношению к иммигрантам и их потомкам; она свидетельствует о полном отсутствии политической культуры у этих властей, да и откуда ей было взяться?..

Одним словом, впервые появившись в деканате, чтобы уточнить что-то относительно приёмных экзаменов, я поздоровался с секретаршей по-латышски – и этим, сам того не зная, решил вопрос о моём принятии. Когда я в следующий раз – дня через два – снова появился в канцелярии, ко мне вышел и со мной заговорил пожилой (по моим тогдашним меркам), хорошо одетый человек, седой и румяный. Он оказался деканом юридического факультета и сказал мне:

– Товарищ Михайлов, у меня есть к вам предложение. Я хочу, чтобы вы переписали своё заявление о приёме.

– Почему? – Помнится, я сразу же подумал о возможных неприятностях: биография!..

– Вы просите принять вас на поток с русским языком обучения. Напишите, что хотите поступить на латышский поток.

И, увидев мою растерянность, пояснил:

– На русском потоке двадцать пять мест и семьдесят пять кандидатов. На латышском – семьдесят пять мест, а желающих чуть больше двадцати пяти. Я не могу гарантировать, что вы пройдёте на русский поток. А что касается латышского... – и он улыбнулся.

– Профессор, но я не знаю языка!

– Ну, ну. Я сам слышал, как вы разговаривали с секретаршей по-латышски.

– Несколько слов... я наверняка не сдам экзаменов!

– Экзамены у вас примут на русском. И первую сессию тоже будете сдавать по-русски.

Ну, а там...

Я согласился, недоумевая, чем вызвано такое благоприятное отношение ко мне.

Впрочем, разобрался в этом довольно быстро. Большую часть поступавших на русский поток составляли фронтовики, среди которых были и бывшие офицеры «Смерша» – военной контрразведки. Все они, понятно, были членами партии. Абитуриенты из русских школ были комсомольцами. На латышском же потоке был один член партии и один кандидат, комсомольцев тоже почти не было. Я должен был оказаться третьим в этой компании: в партию я вступил ещё в десятом классе школы – всё с той же мыслью: исправить допущенную ошибку и как-то возместить партии потерю моей матери. Кстати, в райкоме детали моей биографии стали известны, но они почему-то мне поверили. Впрочем, об ошибке «органов» я там благоразумно не заговаривал.

В общем, я поступил и принялся исправно ходить на лекции, слушать и, ясное дело, ничего не понимать. Однако, как сказано, капля камень точит. Слово за словом – я стал разговаривать, пусть сначала и коряво. На курсе, похоже, считали, что я заслан туда властями, и относились ко мне спокойно-вежливо. Зимнюю сессию я сдавал по-русски. А уже весеннюю первого курса – просто не помню, на каком языке. Может, и на латышском – через пень-колоду. Чем свободнее я обращался с языком, тем лучше относились ко мне и преподаватели, и сокурсники: когда люди чувствуют серьёзное и уважительное отношение к их языку, они перестают воспринимать тебя как чужого. Большинство из нас этого так и не поняло.

Правда, продержался я на факультете недолго. Но ушёл сам, и по совершенно другим причинам. Тогдашней стипендии в 220 рублей в месяц (и даже стипендии отличника в 250) на жизнь не хватало. Я начал искать работу. Знакомый студент предложил вместе с ним работать помощником истопника в одной школе – через день. В четырёхэтажном старом здании было печное отопление, и надо было вычищать золу, разносить уголь и дрова. Дрова я заносил на этажи при помощи «козы» – деревянной конструкции, похожей на каркас высокого и узкого ящика, но без стенок, зато с двумя параллельно торчавшими вперёд изогнутыми ручками. В каркас закладывались дрова, потом надо было присесть перед козой спиной к ней, подвести плечи под ручки и, распрямляясь, поднять всё это дело и нести, как рюкзак, чуть сгибаясь, чтобы нижний край не бил в подколенки. Дровами топился лишь верхний этаж, остальные – углем, его я носил ведрами. Работа была вечерняя, а после неё школьные кухарки кормили нас остатками от школьных обедов. Иногда удавалось и в партах найти несъеденные бутерброды. Но эта работа была временной – пока настоящий помощник то ли болел, то ли был в отпуске – уж не помню. Он вернулся, и пришлось расстаться с «козой».

Тогда я стал искать регулярную работу, и в конце концов, к концу второго курса, нашёл её – стал техническим секретарём районной прокуратуры. Совмещать её с обязательным посещением лекций было невозможно, и я подал заявление на перевод меня в экстернат.

В то время я уже ходил в литературную консультацию при газете «Советская молодёжь» – со стихами, конечно. О первом опубликованном опусе я уже упоминал. Но это продолжалось недолго, я успел проработать секретарём менее полугода, как меня вызвали в прокуратуру республики и предложили повышение – ехать помощником прокурора в один уезд (тогда в Латвии существовала ещё уездно-волостная структура, которую независимая Латвия унаследовала от царских времён), или народным следователем (так тогда называлась низшая следственная должность) в другой. Следователем, конечно же, следователем! Тем более что уезд этот граничил с Рижским, а центр его – Елгава, прежде – Митава, город, не раз упоминающийся в истории, – находился в сорока километрах, и туда, кроме поезда, можно было добираться и на автобусе. Уехать из Риги было не очень приятно, но ведь я попадал в оперативный состав из технического, и вместо четырехсот десяти рублей в месяц должен был получать уже восемьсот тридцать!

Это, конечно, не было обычной практикой: назначить технического секретаря следователем. Но в прокуратуре, где я работал, вскоре увидели, что я серьёзно интересуюсь делами и внимательно приглядываюсь. Мне стали время от времени поручать выполнение следственных действий, например, проводить допросы – по большей части, конечно, формальные, не имевшие для дела существенного значения. И решили, что я способен работать. Вообще-то назначение моё, по сути дела, было незаконным: занимать должности судебных и прокурорских работников по закону могли люди, начиная с двадцатитрёхлетнего возраста, мне же едва исполнилось двадцать. Но люди были нужны, а прокуратура у нас во все времена не очень считалась с законами, соблюдение которых должна была обеспечивать.

Следователи не пишут ни законов, ни приговоров; лишь обвинительные заключения. И если и возникали сомнения в том, что за попытку украсть буханку хлеба или килограмм масла виновный должен получать пятнадцатилетний срок (по Указу от 04.07.47), то на работу они не должны были влиять. И всё же наибольшее удовлетворение от работы я получил однажды, когда (после длинного, тягомотного доследования дела, возвращённого судом), удалось всё-таки доказать невиновность подследственного и виновность других людей – тех, кто пытался засадить его на двадцать лет, его бывших руководителей. А иногда обвинение было доказано – и тем не менее удовлетворения не возникало: формально человек был виновен, но не был виноват! – бывают и такие парадоксы. Однажды я, закончив дело и написав обвинительное заключение, пошёл к адвокатам – коллегия помещалась в том же двухэтажном домике, что и прокуратура, – и попытался уговорить одну даму взять защиту обвинённой в убийстве своего ребёнка женщины. «Она может хорошо заплатить?» «Нет», – ответил я. Дама сделала гримасу и покачала головой.

Так или иначе, меня хвалило начальство – потому что иногда при расследовании удавалось придумать нестандартные ходы; а в камерах Елгавской тюрьмы обо мне говорили, что я – «справедливый», иными словами – не стараюсь засадить любой ценой, хочу докопаться до правды.

Думаю, что если бы моя следовательская жизнь продолжилась сколько-нибудь значительное время, противоречия во мне – между необходимостью соблюдать закон и нередким сознанием его неадекватности – привели бы не только к душевному разладу, но и к служебным неприятностям; возможно, я заблаговременно ушёл бы в адвокатуру – хотя противоречий и там достаточно, и какие-то из своих чувств и убеждений надо блокировать и тут, и там. Но юридическая карьера моя закончилась достаточно скоро: я не успел проработать и года. И завершилась очень естественным образом: меня призвали в армию. Прокурор, которому моя работа нравилась (затора дел не было, хотя из двух полагавшихся по штату следователей работал я один, второй же, старший следователь, был на годичных курсах повышения квалификации), – вызвался поговорить с военкомом, чтобы меня не призывали. Я отклонил

предложение. Уж если мать моя в свое время с винтовкой за плечами шагала в пехоте против Деникина, то мне (полагал я) послужить и сам бог велел.

Правда, литературные мои дела тем самым откладывались еще на годы. Но я был по-прежнему уверен: это от меня не уйдёт, так что спешить некуда.

Теперь, по прошествии многих лет, могу сказать: в этом я был скорее не прав.

Но понял я это даже не тогда, когда начал писать прозу, но лишь подойдя к прозе объёмной. К романам и большим повестям.

До того мне казалось: если книга уже возникла в голове, то осталась чистая техника – сесть и переписать на бумагу. Благо – стучать на машинке я научился ещё в бытность свою техническим секретарём.

И только начав, я понял – какая пропасть пролегает между головой и рукой, которой приходится всё то, что пока существует в виде образов, порой достаточно неясных, преобразовывать в слова.

Это тяжело и до конца неосуществимо даже в принципе: каждое слово – ступенька, как и каждое число – тоже ступенька. Но если между числами существует множество промежуточных ступенечек – десятые, сотые, миллионные, миллиардные доли, так что лестница цифр может быть почти превращена в пандус, где ступенек нет, – то между словами такое перетекание из одного в другое невозможно. Поэтому слова никогда не передадут того, что существует в форме образа, со всей точностью. Но даже чтобы приблизиться к ней, нужно использовать множество слов, а рука этого не хочет. Рука поначалу была бы согласна обойтись лексиконом Эллочки-людоедки. Она от природы ленива. И чтобы она не подсовывала вам, изображая на бумаге, первое попавшееся, плавающее на поверхности слово, её нужно долго дрессировать. Разрабатывать. Расписывать. Рука важна для литератора не меньше, чем для пианиста или скрипача. В идеале она должна быть проводником с нулевым сопротивлением. Иногда она такой и становится – тогда говорят о вдохновении или просто о том, что «текст полёр вдруг». Но для этого её нужно сначала выдрессировать. И, как всякая дрессировка, процесс этот требует времени. Вот почему всем, кто когда-либо спрашивал моего совета, я старался внушить: терять время нельзя. Оно ограничено, его надо использовать по возможности полнее...

Но, как сказано, когда я получил военкоматскую повестку, я об этой стороне литературного ремесла не знал ничего.

В последний вечер перед явкой я – уже остриженный под ноль – зашёл в пивную. И там на меня налетел мужик, которого я узнал не сразу: тот самый, кого я избавил от двадцатилетнего срока. Он был демобилизованным лётчиком в звании капитана. Мне же ещё только предстояло стать рядовым.

С ним я и отметил своё убытие к месту прохождения службы.

До сих пор не могу понять одной вещи.

Всю жизнь любил и продолжаю любить остросюжетную, как её теперь называют, литературу – приключенческую и детективную. Читал и читаю такие книги с удовольствием (хотя не все, конечно). Почему же, имея какой-то опыт следственной работы, хорошо разбираясь и в милицеских делах (вся оперативная работа всегда лежала на милиции, и что бы смог сделать без неё единственный следователь в уезде, а потом – районе?), – почему я ни тогда, по горячим следам, ни когда-либо потом не попробовал даже написать ни одного детективного рассказа, не говоря уже о вещах покрупнее? Другое дело, если бы пытался, но не получилось; могло ведь быть и так. Но даже и не начинал ни разу. Отчего?

Может быть, потому, что мне, как оказалось, куда легче выдумывать, чем пользоваться материалом, почерпнутым в реальной жизни? Иными словами, я сочинитель, а не бытописатель? И романтик, а не реалист? Может быть, да, а может быть, и нет.

Хотя – какая разница? Не всё, что оставляет след в жизни, возникает потом в литературе. Кто-то лучше знает – что нами писать.

## 2. Протерозой

Служил я в БВО – Белорусском военном округе, а точнее – в шести километрах от тогдашнего Минска. Тогдашнего – потому что сейчас места эти вроде бы уже вошли в состав города. Дивизия располагалась по обе стороны Московского шоссе и считалась «столичной»: 1 мая и 7 ноября проходила парадом перед руководством республики и округа. По месяцу перед каждым парадом уходило на строевую подготовку, начинали всякий раз с азов – с одиночной подготовки. Вышагивали строевым. Потом маршировали шеренгами, потом – «коробками»: десять шеренг по десять человек в каждой. В эту пору уже выходили на шоссе, на несколько часов перекрывая движение: транспорт пускали в объезд. Год состоял из двух периодов: зимнего, в казармах, и летнего – в лагерях, в палатках. В полку два батальона занимались боевой подготовкой, третий тем временем строил ДОСы – дома офицерского состава.

В армии был порядок. Никакой дедовщиной тогда не пахло; к молодым относились хорошо, понимая, что не может человек (за редкими исключениями) сразу стать солдатом; для этого нужно время и терпение. Немалую часть сержантов тогда составляли фронтовики, умевшие учить настойчиво и не грубо, понимавшие службу в такой степени, в какой её вообще можно понять, потому что в ней всегда было и будет что-то иррациональное, что постигается не рассудком, а подсознанием. А каковы сержанты, такова и вся армия.

Основная часть моей службы прошла в пулемётной роте. Сперва меня сделали там писарем: грамотеи в пехоте всегда ценились. Я, правда, по инерции предпринял попытку использовать свою небольшую юридическую квалификацию: секретарь дивизионной прокуратуры должен был демобилизоваться, ему сказали, что отпустят тогда, когда он найдёт себе замену. Узнав, что на гражданке я работал следователем, он обрадовался. Но не тут-то было: особый отдел в два счёта докопался до недостатков моей биографии и сказал своё веское «нет». А на «нет», как известно, и суда нет, а есть Особое совещание, как бы оно ни называлось.

Писарская моя карьера закончилась достаточно нестандартно. Принято считать, что писарь – «придурок» – никакими солдатскими добродетелями обладать не может, поскольку в то время, как другие занимаются строевой, огневой и тактической, он припухает в ротной канцелярии. И хотя стрелять я умел с ранней юности и всегда любил, в это по инерции никто не верил, результаты мои на стрельбище как-то проходили мимо внимания. Поэтому осенью, во время инспекторской поверки, когда стрелять должно было сто процентов личного состава, командир роты сказал мне:

– Будете стрелять последним, передо мной. Вы упражнения, конечно, не выполните, поэтому я пойду после вас, чтобы сгладить впечатление.

Стреляли из станкового пулемёта первое БОС – упражнение боевых одиночных стрельб. Надо было, ползя по-пластунски и толкая перед собой «тачкой» пулемёт, вдвоём с помощником наводчика выдвинуться на огневую позицию. Имея в ленте шестьдесят патронов, поразить сначала пулемёт противника (грудная мишень и две «головки»), на то, чтобы разглядеть возникающие в траве мишени, навести пулемёт и открыть огонь, давалось, уже точно не помню, кажется, секунд двадцать. Потом следовало перенести огонь на танк с десантом на броне и расстрелять десант, шесть фанерных прямоугольников на макете танка, который двигался под углом, так что виден был не в профиль, а примерно в три четверти. Четыре «квадрата», как их, вопреки геометрии, называли, давали отличную оценку. Но если наводчик не успевал поразить первую цель, ко второй его не допускали.

Если бы от меня ждали хорошего результата, я, наверное, волновался бы куда больше. Но было известно, что промажу, и поэтому я был почти спокоен. Первую цель увидел сразу,

дал три коротких очереди, патрона по три – и мишени, крутнувшись, утонули в траве ещё до того, как время истекло: значит, поражены. Где появится из-за песчаного вала танк, было известно. Я навёл с упреждением и пустил по нему длинную очередь. Когда он прошёл, повернул пулемёт и снова выпустил очередь – насколько хватило патронов. Выкрикнул, докладывая: «Сержант Михайлов стрельбу окончил!». Мы вернули «Горюнов» на исходную. По телефону сообщили результат: «Шесть квадратов, восемнадцать пробоин!» Лучшая стрельба в полку.

Ротный вышел на огневой рубеж последним, со старшиной роты в качестве помнаводчика. И не смог поразить первой цели. Вероятно, переволновался. Получил баранку. Меня же все поздравляли: за такой результат на инспекторской законно полагался краткосрочный отпуск – десять суток без дороги.

Отпуска я не получил. Поехал другой. Он был хорошим солдатом, но всё же я отстрелялся лучше! Я решил, что это несправедливо. И что надо что-то сделать, взять какой-то реванш.

Всё сделалось почти без меня: на другой, помнится, день командир полкового взвода, старший лейтенант, подошёл ко мне: «Сержант, ты не хочешь съездить в командировку? Я формирую команду – сопровождать эшелон с демобилизованными. Нужен писарь: составлять меню-раскладки, учитывать продукты и прочее». – «Куда везти?» – «Ребята из Закавказья, эшелон до Баку». Я согласился, не раздумывая.

Через день или два поступило приказание командира дивизии: сформировать команду. Мой ротный получил выписку. Примчался в штаб полка. Я там как раз получал документы, стоял в сторонке, и он меня даже не заметил. Сразу же накинулся на ПНШ по строевой: как это – без его ведома и согласия? ПНШ помолчал, потом спросил: «Вы хотите, товарищ майор, чтобы я попросил командующего отменить приказание? Или что?» Майор поморгал, махнул рукой, повернулся и выбежал.

Путешествие было приятным. Вагоны, понятно, были типа «сорок человек или восемь лошадей» – старые, двадцатитонные; один из них был отведен под склад – там, вместе с крупами, буханками и консервами, ехали и мы вдвоём: кроме меня ещё кладовщик, латыш того же призыва, что и я, из Елгавы. Я ежедневно составлял меню-раскладку, вёл счёт израсходованного: за всё это потом предстояло отчитаться. Кладовщик выдавал, повара исправно варили; но у ребят в теплушках хватало и своего: закавказцев родня всегда обеспечивала посылками, и наше меню успехом не пользовалось. Мы просили их лишь об одном: чтобы казённые миски они не выкидывали по дороге из теплушек – миски были материальной ценностью. Ехали мы не споро, дорога заняла, помнится, около двух недель. Наконец, прибыли на станцию Баладжары, близ Баку, где размещались большие военные склады; там эшелон расформировали, армяне, грузины, азербайджанцы разъехались по домам. Мы – команда – провели в Баку дня два или три; там было тепло в ноябре, мы ходили и любовались, знакомились с девушками. Потом получили проездные литеры и в часть возвратились уже обычным пассажирским поездом, куда быстрее, чем ехали сюда. В Минске было снежно и морозно, предстояла ещё одна зима.

Пока я ездил, рассерженный командир роты назначил нового писаря, из молодняка осеннего призыва. Я доложил, что прибыл из командировки. Мне уже сказали, что я назначен командиром расчёта: как-никак, я был сержантом, и поставить меня таскать пулемёт нельзя было. Ротный не без ехидства спросил меня: «Ну, что вы на это скажете?» Может быть, он ждал, что я, жалея о спокойной жизни в канцелярии, покаюсь и попрошусь на старое место. Но мне канцелярия надоела – не этого же, в конце концов, я ждал от армии. Я отрапортовал: «Постараюсь сделать расчёт лучшим в роте».

Я действительно старался, хотя натаскать в солдатском деле маленьких, слабосильных ребят из таджикской глубинки, не понимающих по-русски, было не так-то просто. Помню,

как счастлив был один из этих пареньков, когда усёк, наконец, как надо совмещать мушку с прорезью планки, чтобы прицелиться. Я раньше полагал – по книгам и фильмам, – что все среднеазиаты – прирождённые воины; оказалось, что не все. Но служба понемногу и их обтёсывала. Хотя пешие переходы в глубоком снегу выматывали их до предела.

Скучать не приходилось. Нас гоняли пешком, возили на машинах, забрасывали на транспортных самолётах и планерах. Приходилось по несколько суток не слезать с машины под непрерывным проливным дождём (то были обычные грузовики «ГАЗ-51», не «БМП»); нас научили спать в крепкий мороз: наломав веток, мы ложились по двое, нас завёртывали в наши же шинели и поверх них – в плащ-палатки, и мы мгновенно засыпали, набегавшись и наползавшись за день. Так – неделю, вторую, третью...

К счастью, в те годы в мире было относительно спокойно. Тревоги, по которым нас поднимали, по большей части оказывались учебными. Исключений было, помнится, два: одно – когда началась корейская война. Дивизию подняли по тревоге, полки вывели в район сосредоточения, вскрыли цинки и раздали боевые патроны и гранаты. По солдатскому радио прошёл слух, что нас прямо из леса направят в эшелоны, и мы поедем на Дальний Восток. Слух нас не удивил: в армии случалось и не такое. Однако были такие планы или нет, они не осуществились; через несколько часов сыграли отбой, и роты пошли обедать. Во второй раз картина была такой же самой, но нас из района сосредоточения отвезли в город. Там мы пробыли до утра, но ничего не случилось. Потом выяснилось: подняли нас потому, что был арестован Берия, в Минске располагалась дивизия МВД, и опасались, что она может выступить; мы должны были подавить её. Дивизия не выступила, и мы в конце концов благополучно убыли в расположение.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.